

**Школьная тетрадь.
Книга первая
«Хлеб из лебеды»**

Петр Симон



Петр Симон

Школьная тетрадь. Книга первая «Хлеб из лебеды»

<https://litres.ru/74179154>

SelfPub; 2026

Аннотация

Октябрь 1941 года. В пустующей избе семилетний Алёша Рязанцев просыпается от холода и голода.

Кажется, что надежды нет. Но в школе, где из сорока учеников осталось пятеро, учительница даёт ему простую тетрадь в клетку. «Пиши правду, — говорит она. — Пиши, как мы живём. Что едим. О чём думаем. Чтобы потом никто не забыл».

Алёша начинает записывать свою жизнь. Он ещё не умеет красиво писать, но выводит буквы старательно, как заклинания. Он записывает сны, страх, голод, похоронку, волчий вой — и солнечный день сенокоса, и запах материнских рук, и обещание, что когда-нибудь война закончится.

«Хлеб из лебеды» — это первая книга эпопеи «Школьная тетрадь» о том, как война выжигает детство, но не может убить душу. О том, как простое слово, записанное на бумаге, становится сильнее пули. О том, что даже в самой тёмной жизни есть место для света.

Основано на реальных судьбах поколения, прошедшего через войну голод и потери.

Петр Симон

**Школьная тетрадь. Книга
первая «Хлеб из лебеды»**

Глава 1. Первое слово

Октябрь 1941 года. Село Лутошиново. Смоленская область
Утро без хлеба

Утро без хлеба

Алёша проснулся от того, что мать дышала в темноте слишком часто. Он лежал на полатах, на ватном одеяле, которое помнило ещё его деда, и слушал этот звук — прерывистый, с присвистом, будто кто-то пилил сухое дерево. Мать плакала во сне. В сорок первом году это было обычное дело, но Алёша каждый раз вздрагивал, потому что во сне мать была честной, а днём — нет.

Он свесил голову вниз. Печь в углу чёрной горой давила на избу, но была холодной. Дрова кончились вчера, и мать сказала: «Теперь будем жечь бурьян, сынок». Алёша не знал, что такое бурьян, но представил колючие стебли, которые растут за огородом, там, где кончается забор и начинается поле. Их жгли, когда дров не было. А дров не было часто.

Он спустился с полатей босиком на деревянный пол. Пол был холодный, как лёд на реке в декабре, и Алёша пошлёпал быстрее, поджимая пальцы. Ноги у него были тонкие, синеватые, пальцы похожи на червей, которых он выкапывал весной для рыбалки. У отца ноги были большие, в тяжёлых сапогах, и когда отец был дома, пол казался теплее. Отец ушёл в августе. Прислал два письма. В первом писал: «Держитесь». Во втором: «Бьём проклятых гадов». Третьего не было.

Мать лежала на лавке, лицом к стене, укрытая старой шу-

бой. Алёша подошёл, тронул её за плечо. Плечо было острое, как дощечка.

— Мам.

Она не ответила.

— Мам, а хлеб будет?

Она повернулась. Глаза у неё были красные, волосы выбились из-под платка. Они были ещё не седые, но грязные, с соломой.

— Будет, — сказала она, и голос был твёрдый, не как плач во сне. — Сходим, сынок, к тётке Насе, спросим, не даст ли картошки займы до весны. Я печь растоплю сухой травой.

— А мы что едим сегодня? — спросил Алёша, хотя знал ответ.

— Будет.

Это слово «будет» мать говорила уже три месяца. Оно заменяло всё: хлеб, мясо, масло, мир, отца. Оно было как икона в красном углу — висит, а толку мало.

Изба, которая всё помнит

Пока мать собиралась, а собиралась она долго — натягивала драный полушубок, повязывала платок туже, надевала лапти, Алёша стоял посреди избы и смотрел на вещи. Он делал так каждое утро. Он боялся, что однажды утром вещи исчезнут, как исчез отец.

Изба была одна, но имела она два лица.

Одно лицо было парадное, довоенное. В красном углу — божница с иконами, почерневшими от времени и копоты. Николай-угодник, Богородица с младенцем, и маленькая медная иконка Пантелеймона-целителя — её повесили, когда Алёша болел корью. Рядом с иконами — пучок сухих берёзовых веток, которые мать меняла каждый год к Троице. В этом году не меняла. Забыла. Или не было сил.

Под божницей — стол, грубый, сосновый, со следами ножа. Отец резал хлеб, и доски помнили каждый надрез. На столе — керосиновая лампа с закопчённым стеклом. Рядом — чугунок, в котором варят щи, если есть капуста, и если есть сало, и если есть сила.

Второе лицо было нищее, военное. У печи — ворох тряпок вместо половика. Окна заклеены газетными полосами — «Правда» от мая, где пишут о Красной армии. Алёша выучил наизусть заголовок одной заметки: «Разгром немцев под Ельней — начало конца». Конец не начинался. Стекла

дрожали, когда далеко за лесом падали бомбы.

На гвозде у двери висела цигейковая шуба отца. Мать не снимала её и не перешивала. Она висела, как человек, которого повесили. Иногда Алёша прижимался к ней лицом и вдыхал запах — табак, лошадиный пот, и ещё что-то тёплое, живое, чего нельзя назвать. Рядом с шубой — серп и грабли. Это оружие. Вместо ружья.

В углу — прялка, которую мать не трогала с июня. На прялке — недопряденная кудель, брошенная в тот день, когда пришла повестка отцу. Мать тогда уронила прялку, и веретено покатилося по полу, как живое. С тех пор она не подходила к ней.

На полках — глиняные горшки, крынки, чугушки. Мать берегла их как зеницу ока, потому что в городе, говорят, посуду уже не купить — фабрики работают на снаряды.

За печкой — деревянная кадка для квашения капусты. В прошлые годы к этому времени кадка была полна — квасили на зиму, с клюквой, с яблоками. В этом году — ни капусты, ни клюквы, ни яблок. Всё ушло в колхоз, на фронт.

Проводы на войну

Алёша помнил тот день, как сегодня. 3 августа 1941 года. В Лутошнево пришла повестка. Начальник, приехавший на мотоцикле, остановился у сельсовета, и староста забежал по дворам, стуча в окна: «Мужики! Собирайтесь! Война!».

Их собралось восемнадцать человек. Все, кто мог держать оружие. Молодые, как отец — тридцать два года, с натруженными руками и обветренными лицами. И старые, кому за сорок, — их брали тоже, потому что не хватало.

Провожали всем селом. Бабы выли, как по покойникам, дети ревели, вцепившись в отцовские штаны. Лошади в колхозной конюшне ржали — они тоже чуяли беду.

Алёша стоял у забора, держась за доски, и смотрел на отца. Тот был в новой гимнастёрке, которую мать шила три ночи не смыкая глаз. На ногах — кирзовые сапоги. За спиной — вещевой мешок, в который мать положила краюху хлеба, пару варёных яиц и маленькую иконку — Спасителя, которую носила на шее всю жизнь.

— Сынок, — сказал отец, присев перед ним на корточки. — Ты за маму отвечаешь. Ты теперь мужик в доме. Помнишь?

— Помню, — сказал Алёша, глотая слёзы. Он старался не плакать, потому что отец не плакал.

— Если что — копай погреб глубже, дрова заготовь на два

года, — сказал отец. — И тетрадь купи. Будешь писать. Я же знаю, ты у меня смышлёный.

Отец поцеловал его в лоб, сухо, по-мужски, и встал. Мать бросилась к нему, обвила руками, прижалась, как к последней надежде. Отец гладил её по голове, по плечам, шептал что-то, чего Алёша не слышал.

Потом колонна двинулась. Сначала по улице, потом мимо леса, потом за поворот. Алёша стоял у забора, пока отец не скрылся из виду. Мать упала на колени прямо в грязь, и кто-то — тётка Настя, кажется — поднял её и повёл в избу.

В тот вечер мать впервые не зажгла лампаду. Она сидела на лавке, смотрела в одну точку и молчала.

Алёша залез на полати и долго смотрел в потолок. Ему было страшно. Не так, как бывает страшно от темноты или от грома. А по-другому — как будто внутри пустота, и она растёт, и вот-вот заполнит всё тело.

Он не записал тогда ничего. Ещё не было тетради.

Друг Мишка

На следующий день после проводов Алёша пошёл к Мишке Курочкину. Они были ровесниками — Мишке тоже семь, но он был толще, выше и вечно с перепачканным сажей лицом. Жили Мишка на самом краю села, в избе с кривой крышей и разбитым крыльцом. Мать Мишки — тётка Марфа — ушла на фронт санитаркой ещё в июле, бабка Ольга осталась с тремя внуками. Мишка — старший.

— Алёшка! — крикнул Мишка, увидев друга из окна. — Ты слышал? Немцы под Вязьмой!

— Слышал, — сказал Алёша, подходя к крыльцу. — А ты откуда знаешь?

— Бабка сказала. Ей соседка из Осиповки приезжала, она оттуда бежала, когда немцы танки пустили. Бабка говорит, там сейчас «котёл» — наши в окружении, никто не выйдет.

Алёша замер. Слово «котёл» он слышал впервые, но от него стало холодно внутри.

— А наши что?

— Наши погибают, — сказал Мишка просто, как говорят о том, что дождь идёт. — Бабка сказала, под Вязьмой полмиллиона наших солдат убито или в плену. Танки немецкие идут на Москву.

— А мы? — спросил Алёша. — Мы что?

— А мы сидим и ждём, — сказал Мишка. — Бабка гово-

рит, скоро немцы и к нам придут.

Они помолчали. Ветер шевелил жёлтые листья на берёзе у забора.

Они прошли в избу, где бабка Ольга — сухая, как щепка, в чёрном платке — сидела у печи и месила тесто. На столе лежали лепёшки — серые, твёрдые, как камни. Алёша взял одну, откусил, и во рту стало горько. Лебеда, мякина, немного соли — и всё. Но это была еда.

— Спасибо, бабушка, — сказал Алёша.

— Ешь, внучок, — сказала бабка, не оборачиваясь. — Ешь, пока есть. Неизвестно, что завтра будет.

Мишка смотрел на Алёшу, жующего лепёшку, и молчал. Потом спросил:

— А ты в школу ходить будешь?

— Не знаю, — сказал Алёша. — Если откроют.

— А я пойду, — сказал Мишка. — Клавдия Петровна сказала, занятия будут. Пять человек. Ты, я, Катька, Соня и Петька-рыжий.

— А другие?

— В эвакуацию уехали, — Мишка пожал плечами. — Остальные кто? Ванька с матерью в Саратов, Василиса с сёстрами в Киров. Спасаются.

Алёша доел лепёшку, облилизал пальцы и сказал:

— А я не поеду. Мама не бросает дом.

— Моя тоже не бросила бы, — сказал Мишка. — Но её на фронт забрали, а бабка старая. Куда нам ехать?

Они снова помолчали. Где-то вдалеке загудел самолёт — тяжёлый, с металлическим призвуком. Мишка подскочил к окну, глянул в небо.

— Немцы! — сказал он. — Идут на Москву, наверное.

— Бомбить будут? — спросил Алёша.

— Не знаю. Может, просто летят.

Они стояли у окна, прижавшись к стене, пока гул не стих вдали.

Поход за картошкой

Тётка Настя жила в пятой избе от края. Лутошнево было маленькое — сорок дворов, если считать сгоревшие. Две трети мужиков ушли на фронт. Остались бабы, дети и старики, которых не взяли.

Дорога к тётке Насте была как поле боя. Не от войны — от осени. Грязь по щиколотку, чёрная, липкая, в которой вязли лапти. Алёша шёл сзади матери, держался за подол её шубы. Подол волочился по земле и набирал комья.

— Мам, а почему мы не уедем?

— Куда, сынок?

— В город. В эвакуацию.

Мать остановилась. Посмотрела на небо. Небо было низкое, серое, будто потолок, который сейчас рухнет.

— Туда тоже стреляют, — сказала она. — А здесь — дом. Дом бросать нельзя.

Алёша не понял, почему нельзя, но переспрашивать не стал. Он понял другое: у матери нет сил бросить дом. Бросить дом — значит признать, что папа не вернётся. А она не признавала.

Тётка Настя стояла на крыльце, опершись на клюку. Ногу отбило на лесоповале в тридцать третьем, лошадь копытом. Увидела Лукерью и Алёшу и заохала:

— Господи Иисусе! Лукерья, живая! А мы слышали, нем-

цы под Вязьмой. Думали, на прошлой неделе — всё, капут.
— Жива, — сказала мать. — Настя, ты прости, Христа ради. Дров нет. Картошки нет. Займи хоть ведёрко до весны.

Тётка Настя помолчала. Потом скривилась, вздохнула, перекрестилась.

— Входите.

В избе у Насти было так же бедно, как и у них. Те же тряпки, та же печь, тот же пустой угол, где должен стоять сундук с мукой — но нет муки. На столе — миска с солёными огурцами, две картофелины, маленький ломоть хлеба, прикрытый тряпицей.

— Отрежу вам по кусочку, — сказала Настя, снимая тряпицу. — Прости, Лукерья, больше нету.

— Спасибо и на том.

Они ели молча. Хлеб был чёрный, с мякиной, горький — пекли из лебеды пополам с ржаной мукой. Алёша жевал и чувствовал, как крошки царапают нёбо. Картошка была мёрзлая, сладкая — осенью урожай выкопали, но негде хранить, землянка была ещё не готова.

— А что делать будете? — спросила Настя, когда доели.
— Зима на носу.

— Коляна попрошу, — сказала мать. — Колян из соседней деревни, он на тракторе. Привезёт дров, я ему крынку молока отдам. Корова же есть.

— Зорька-то ещё доится?

— Немного. Чуть больше кружки дает.

Тётка Настя покачала головой, посмотрела на Алёшу.

— Мальчик-то худой, как спичка. Ты его корми, Лукерья.

— Кормлю.

— Чем?

Мать не ответила.

Ужин из милосердия

Вечером мать растопила печь сухим бурьяном. Горел он быстро и зло, рыжим пламенем, с треском, будто в печи стреляли. Тепло пошло, но ненадолго — часа на два. Алёша сидел на лавке, обняв колени, и ждал, пока чугунок со щами нагреется.

Щи были пустые. То есть на воде, с одной картофелиной на троих и ложкой конопляного масла, которое мать берегла с лета. Алёша выловил свою картофелину и съел её медленно, как конфету — сначала кожуру, потом нёбом раздавил мякоть, потом языком подобрал остатки.

— Мам, а у нас есть что-нибудь ещё?

— Нет, — сказала мать.

Она сидела напротив, положив руки на стол. Руки были в трещинах, чёрные от земли и навоза — она работала в колхозе за троих, получала палочки, трудодни, которые ничего не стоили.

— А папа пришлёт что-нибудь?

— Некогда ему.

— А ты думаешь, он живой?

Тишина.

— Думаю, живой, — сказала мать, не глядя на него. — Не может он умереть.

— А если умрёт?

— Замолчи, Алёша.

Он замолчал. В тишине было слышно, как за окном падает снег — первый в этом году, мокрый, липкий. Он падал на стекло и сразу таял, стекая полосками. Похоже на слёзы.

Перед сном мать зажгла лампу и сказала:

— Иди сюда. Будем читать.

Она достала с полки книгу. Единственную, которая осталась в доме — потрёпанную «Капитанскую дочку» Пушкина, без обложки, с вырванными страницами в конце. Алёша любил этот ритуал. Мать читала медленно, иногда останавливаясь и объясняя слова, которых он не понимал — «дуэль», «императрица», «милосердие».

— Что такое милосердие, мам?

Мать подумала.

— Это когда у тебя самого нет, а ты последнее отдаёшь.

— Как ты вчера отдала молоко соседке?

— Да. Как я.

Она закрыла книгу.

— Ложись, сынок. Завтра пойдём в лес, соберём сушняк на дрова. Будет холодно. Надо запастись.

Алёша лёг на полати, укрылся одеялом и закрыл глаза. Он думал о том, что сегодня они ели хлеб с лебедой и пустые щи. Что завтра, наверное, будет то же самое. Что дров нет. Что отец не пишет.

Он не плакал. Он выучился не плакать — слёзы тратят силы, а силы нужны, чтобы дойти до леса и вернуться с вя-

занкой сухих веток.

Но сон не приходил. Он лежал, слушал, как за окном воет ветер, и смотрел на тусклый огонёк лампы перед иконой. Мать забыла потушить. Или оставила специально.

Заснул он под утро. И во сне ему приснился отец, который шёл по снегу в одной шинели, без шапки, и нёс в руках каравай белого хлеба.

Школа на бугре

Наутро Алёша проснулся от света. Не солнечного — такого не было уже неделю, — а от белого, режущего глаза, который бывает только после снегопада. За ночь намело по колено, и изба стояла, укрытая, как овчиной.

— Вставай, — сказала мать. Она уже была на ногах, возилась у печи. — Сегодня пойдёшь в школу. Клавдия Петровна сказала. Вчера вечером забегала, пока ты спал. Сказала, занятия начинаются. Хоть пять человек, хоть два — а учить будет.

Алёша слез с полатей. Ноги сегодня были не такие холодные — мать растопила печь с вечера, и жар ещё держался. Он натянул рубаху, портки, ватник — тот самый, сшитый из старого одеяла, — и шапку-ушанку.

— А завтрак? — спросил он.

Мать протянула ему маленький кусочек хлеба. Тот самый, вчерашний, от тётки Насти. Чёрный, с мякиной, твёрдый как камень.

— Это на весь день, — сказала она. — В школе жуй. Не всё сразу. Растяни.

Алёша взял хлеб обеими руками, как драгоценность, и сунул за пазуху. Хлеб был холодный, но он знал: в школе, у печки, он согреется.

— Иди, — сказала мать. — Да не забудь: тетрадь, если

дадут, не потеряй.

— Не потеряю, — сказал Алёша. Он подумал о той тетради, о которой говорил отец, и сердце у него забилося чаще. Он не знал, почему.

Он вышел на крыльцо. Снег хрустел под ногами, и следы уходили в белизну, как чёрточки на бумаге. Воздух был ледяной, с морозной иглой, которая колола щёки. Алёша вдохнул глубоко, и в груди зашипало.

Школа стояла на бугре, за огородами, видно было из любого окна. Деревянная, облупившаяся, с покосившимся крыльцом, на котором уже лежал снег. Когда-то, до войны, там училось сорок человек. Теперь осталось пять — ему сказал Мишка.

Алёша прошёл мимо колодца, мимо пустого амбара, у которого были выбиты двери — говорят, эвакуированные из Смоленска разобрали доски на дрова, когда проезжали в августе. Мимо огородов, где торчали сухие стебли картофельной ботвы, присыпанные снегом. Мимо дома Кузьминых, где у крыльца стояла бабка Матрёна в ватнике и смотрела в небо.

— Алёшка! — крикнула она. — В школу идёшь?

— Иду, тётя Матрёна.

— А что там учить? — спросила она, и голос у неё был такой, будто она спрашивала не Алёшу, а саму себя. — Немцы под Вязьмой. Учителей тоже, говорят, забирают. Зачем школа, когда война?

Алёша не знал, что ответить. Он просто шёл дальше, под-

нимаясь на бугор. Из-за школы, с той стороны, где начинался лес, донёсся далёкий гул — самолёты. Он остановился, прислушался. Гул был тяжёлый, металлический, с призвуком, от которого внутри всё сжималось. Это были немцы. Или наши — он не различал. Но мать научила: «Слышишь гул — не стой на месте, иди в укрытие». Он пошёл быстрее.

Крыльцо школы было скользким — снег не убрали, и он слежался. Алёша ступил на ступеньку и чуть не упал — ухватился за перила. Перила были холодные, и он отдёрнул руку.

Дверь была приоткрыта. Изнутри тянуло теплом и запахом керосина — Клавдия Петровна, видно, зажгла лампу.

Алёша толкнул дверь и вошёл.

Школьный класс

Внутри было темно, но уже светлело. Клавдия Петровна стояла у печи и разводила огонь. Печь была голландская, изразцовая, белая, но изразцы были в копоты — топили плохим топливом, и дым выходил не весь.

— Заходи, Алёша, — сказала она, не оборачиваясь. — Садись за первую парту, ближе к печке.

Он сел за парту — ту самую, с вырезанными буквами. Кто-то до войны вырезал «Вася», кто-то — сердечко со стрелой. Алёша провёл пальцем по сердечку. Вася, наверное, на фронте. Или уже убит.

В класс зашли другие. Сначала Мишка — в шапке набекрень, с красными от мороза щеками, с кульком за спиной, в котором, наверное, лепёшка.

— Привет, Алёшка! — крикнул он, плюхнулся за вторую парту. — Ты тоже пришёл?

— Я же сказал, — сказал Алёша.

Потом пришла Катька Малая — десять лет, в третьем классе, мать у неё умерла летом от тифа, а отец на фронте. Катька была тихая, бледная, с тёмными кругами под глазами. Она села в третьем ряду, молча.

Соня Короткая — маленькая, толстая, сирота при живых родителях, мать в городе на заводе, отец на фронте. Она принесла с собой варёную свёклу и жевала её, прикрывая рот

рукой.

Петька-рыжий пришёл последним, запыхавшийся, с разбитым носом — поскользнулся на крыльце.

— Все? — спросила Клавдия Петровна, оглядывая пустой класс. Пять детей в комнате на сорок человек. Пустые парты стояли рядами, как могильные плиты.

— Все, — ответил Мишка.

Клавдия Петровна вздохнула, поправила платок, который сполз набок, и сказала:

— Тогда начнём.

Она подошла к доске, взяла мел — маленький огрызок, обломанный, зажатый в пальцах — и написала одно слово:

МИР

— Кто знает, что это за слово? — спросила она.

— Мир — это когда нет войны, — сказала Катька Малая.

— Правильно. А что ещё?

Тишина.

— Мир, — сказала Клавдия Петровна, — это ещё и согласие. Когда люди не ссорятся. Когда дети не голодают. Когда папы дома.

Она посмотрела на Алёшу. Он сидел, смотрел на доску, и в горле у него стоял ком. Папы дома не было. Папа был где-то там, под Вязьмой или дальше. А может, его уже нет.

— А теперь напишем это слово в тетрадах, — сказала учительница.

У Алёши не было тетради. Вообще. Он поднял руку.

— Клавдия Петровна, а у меня нет тетради.

Она посмотрела на него, потом на остальных.

— У кого есть тетради?

Ни у кого не было. Мишка сказал, что его бабка пишет на газетах. Катька — что у неё есть бумага, но она бережёт её для писем на фронт. Петька-рыжий промышчал, что у него нет ничего.

Клавдия Петровна вздохнула, вышла в коридор и вернулась через минуту с пачкой тетрадей. Совсем маленькой — штук пять или шесть.

— Вот, — сказала она. — Это довоенный запас. Я берегла. Возьмите.

Она раздала каждому по тетради. Алёша взял свою — зелёную, в клетку, с картонной обложкой, на которой был напечатан чёрный рисунок: молот и шестерёнка. Тетрадь пахла типографией и чем-то далёким, фабричным, городским, где нет войны.

Он открыл первую страницу. Белый, чистый лист. Ни одной буквы. На войне всё было грязное, рваное, серое. А здесь — чистота.

— А чернила? — спросил Мишка.

— Чернил нет, — сказала Клавдия Петровна. — Но я знаю один способ. Погодите.

Она вышла в коридор и вернулась с чашкой и кусочком ваты. Подошла к печи, соскребла с заслонки чёрный налёт — сажу, — смешала его с водой в чашке, положила туда вату.

— Вот вам чернила, — сказала она. — Не настоящие, конечно. Но писать можно.

Алёша макнул перо — погнутое, отцовское, с треснутым корпусом — в чёрную жижу. Она пахла гарью и пеплом. Он попробовал на обрывке газеты — строка получилась чёрная, расплывчатая, но разборчивая.

— Теперь пишите, — сказала Клавдия Петровна. — Аккуратно, не торопясь. Слово «Мир».

Алёша открыл тетрадь. Перелистнул первую страницу — чистую, белую — и написал на ней:

«Мир»

Буква «М» получилась кривая, с перекосом, «Р» — размазанная, чернила текли. «И» была похожа на палку.

— Не так, — сказала Клавдия Петровна, подойдя к нему. — Ты нажим делаешь. Перо не надо давить. Оно само пишет, только води.

Она взяла его руку в свою. Рука у неё была тёплая, пахла хлебом и чем-то сладким, как сушёные яблоки.

— Плавно, — сказала она. — Смотри.

Она провела его рукой, и буква «М» вышла ровная, красивая, с двумя горбами, как верблюд.

— Вот так, — она отпустила его руку. — А теперь сам.

Алёша попробовал. Получилось хуже, но лучше, чем первый раз. Он написал ещё одну строчку — «Мир» — и ещё одну. К концу строчки чернила кончились — он снова макнул перо в чашку с сажой и продолжал.

Когда урок кончился, Клавдия Петровна сказала:

— Дети, вы можете идти. Завтра жду вас в это же время.

Алёша не ушёл. Он помог ей собрать со столов, подмести пол веником, который был лысым, как старый кот, и вынести чашку с остатками чернил.

— Посиди, — сказала она, когда он уже взялся за дверь.

— Поговорим.

Алёша сел на лавку у печки. Печка остывала, но ещё хранила тепло.

— Алёша, — сказала она. — Ты будешь писать в тетрадь?

— Буду, — сказал он.

— Что ты будешь писать?

Он подумал.

— Всё, — сказал он. — Что мы едим. Что мама говорит.

Про то, что папа на войне.

Клавдия Петровна помолчала, глядя на него. Потом сказала тихо:

— Ты умный мальчик, Алёша. Не по годам умный. Война делает детей взрослыми, а тебя она сделает писателем.

— Писателем? — он не понял слова.

— Тем, кто пишет книги. Как Пушкин. Как Толстой.

Алёша подумал о толстых томах, которые стояли у дьякона на полке — в них было много букв и ничего не понятно.

— А у меня тетрадь, — сказал он. — Одна.

— Ты будешь писать всю жизнь, — сказала Клавдия Петровна. — И одна тетрадь превратится в десять. А десять —

в книгу.

Она встала, поправила платок.

— Иди, Алёша. Мать заждалась.

Он вышел на крыльцо. Снег всё шёл — мелкий, колючий. Гул самолётов стих. Деревня лежала белая, тихая, как на картинке. В руке у него была тетрадь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.